**ТРИДЕСЯТОЕ ЦАРСТВО**

По натуре Пал Палыч был стихийным софистом, про таких говорят: «самоклад». Пока Пётр Алексеевич ехал с ним от Новоржева до кукурузных полей под Ашевом, а это километров сорок пять, Пал Палыч рассуждал о слабости и силе. Разумеется, в первую очередь о той, что сидит внутри, о силе духа. Мол, зачастую эту силу предъявляет слабейший, кому некуда деваться, кто на краю – ступи шаг назад, и тогда окончательная, бесповоротная погибель. Такой будет стоять на своём до последнего, упрямо, как капризное дитя, и в итоге вынудит более сильного уступить – пусть, дескать, в этот раз будет по-твоему. И вообще, все споры силы идут большей частью по каким-то пустячным вопросам, а действительно важных разногласий, где уступить никак нельзя, довольно мало и они редки. Возможно, для сильнейшего таких тяжб не существует вовсе. Пётр Алексеевич возражал спокойно, без задора: по-вашему выходит, будто слабый сильнее сильного, будто слабость – надёжна, в отличие от силы, которая рано или поздно проиграет. Да, кивал Пал Палыч, слабый мошенничает и плутует, чтобы выиграть, а сильный – не умеет, и в том его изъян. Жить и постоянно думать, как бы сплутовать, не соглашался Пётр Алексеевич, лакейский жребий, жалкий и бесчестный. Пал Палыч кипятился: жулит тот, кто хочет победить, кто хочет обхитрить судьбу, кто стремится получить от жизни больше, но не может добиться этого иначе. Нет, непреклонно перечил Пётр Алексеевич, сильный не должен без конца уступать слабому – этому маленькому человечку (двойное умаление) Гоголя и Чехова, – потому что тогда из маленького человечка вырастет маленькая гадина. А все беды мира происходят именно от них, от маленьких гадин. За исключением тех, которые подкладывают гадины большие.

Дорога была непривычно пуста. За спором не заметили, как доехали.

Небо изливало бледную бирюзу; деревья, чётко прорисованные, будто процарапанные на стекле воздуха и зачернённые эмалью, стояли голыми; земля, что обнажённая в полях, что усыпанная хвоей и палым листом в лесу, что укрытая прошлогодними травами на лугах, была суха и не томила сырым дыханием пробуждающейся жизни. Не то чтобы продолжался сон – пахло так, словно бы жизнь тут и не замирала. Ничего удивительного – зимы в этом году, считай, не было. Попрыскали дожди, потянуло чуть сквозным холодком, а крепкого снега не выпало вовсе, и рек с озёрами не тронул лёд – с декабря по март пару раз всего и подморозило. Бывали в здешних краях и прежде тёплые зимы, но такой тут раньше не видали.

Пал Палыч готов был продолжать дискуссию, однако Пётр Алексеевич всем видом выражал безучастие. Прежде, в юности, пока не устоялся, он азартно спорил по каждому поводу, казавшемуся ему важным (таким мнился именно что каждый), но результаты прений неизменно его огорчали. Не только потому, что он, по меткому слову, был крепок задним умом и самые блистательные доводы находил тогда, когда спор был уже безнадёжно закончен, а потому, что трудно и нелепо искать аргументы в пользу того, что самому тебе и так ясно как божий день. И Пётр Алексеевич спорить перестал. Либо диспутировал с ленцой, только чтобы раззадорить собеседника и поддержать разговор. Он не чувствовал ровным счётом никакой необходимости кого-то в чём-то переубеждать, так как не имел нужды в посторонней поддержке своих соображений – они и без того были прочны естественной прочностью, и никому на свете не по силам было их поколебать. Такое свойство сознания называют «цельным мировоззрением», и Пётр Алексеевич, как ему представлялось, определённо им обладал. Окружение, живущее переменчивым *мнением*, чтобы не напороться на неуступчивые шипы, окутывает подобных людей ватой понимающей снисходительности, поэтому в ближнем кругу одни называли природное свойство Петра Алексеевича трудным характером, а другие – занимательным упрямством.

На въезде в село по обе стороны дороги располагался небольшой зверинец: желтоглазая волчица в клетке с собачьей будкой, два медведя – матёрый и подросток, – заключённые в отдельные камеры за сварными решётками, осёл и три вечно линяющих верблюда в просторном загоне. Прежде были ещё павлины и целый табун африканских страусов, но года два назад пернатые перевелись. О судьбе их Пётр Алексеевич не справлялся. Должно быть – птичий грипп. Зоосад и придорожное кафе при нём содержал работящий чеченец Рамзан, в просторечии Рома, приехавший сюда на заработки из Урус-Мартана ещё в конце восьмидесятых – шабашил на строительстве коровников и птичников, – да тут и прижившийся, чему немало поспособствовала начавшаяся кавказская бойня: возвращаться, собственно, оказалось некуда. Какой прок ему был в зверье – загадка, так как смотреть на Роминых питомцев всем дозволялось бесплатно. Наверное, такая песня души. Поговаривали, будто Рома случает свою волчицу с лайкой, а щенков отдаёт знакомым охотникам – из тех ме́шанцев вырастают псы, не знающие страха.

Пока ехали по Ашеву, Пал Палыч то и дело вертел головой и внимательно вглядывался в редких прохожих, по большей части женщин, словно выискивал кого-то, кто был ему позарез нужен, – в пронизанном чудом мире, населённом видимым и невидимым, он был дома, но при этом всегда оставался начеку.

– Тут свертайте, – показал Пал Палыч на грунтовку, уводящую из села налево. Его псковский говорок был рассыпчат и звонок. – Надоело, поди, вам со мной всё на Сялецкое да на Михалкинское… Каждый год одно – озёра да мочила. А в полях-то гуся мы с вам ещё ня стреляли.

Что правда, то правда – Пётр Алексеевич уже года четыре как обсуждал с Пал Палычем охоту на гуся в полях, о которой знал лишь понаслышке – из рассказов знакомых зверобоев – и по спортивно-промысловой литературе: накрытая камуфляжной сеткой яма-*скрадок* на местах кормёжки гусей или на пути их пролёта с воды на поле, маскировочный костюм «леший», превращающий охотника в неброскую швабру, гусиные профили для приманки идущей на жировку стаи… «А где профили взять?» – поинтересовался однажды при «гусином» разговоре Пётр Алексеевич. «В городе живе́ – не моге́ достать?» – последовал ответ. Вопрос, разумеется, был праздный. Профили Пётр Алексеевич вскоре заказал по интернету – пластиковые, прекрасно раскрашенные. С тех пор они валялись в сарае у Пал Палыча без дела – до охоты на полях всё никак не доходило.

Неподалёку от Ашева размещалось животноводческое хозяйство – коровы по голландской технологии круглый год стояли на ферме без выгула и давали по сорок литров молока в сутки. Скотине на таком содержании для полного вымени нужен питательный корм, поэтому близлежащие пашни от реки Ашевки до Уды были сплошь засеяны кукурузой. Кукуруза, конечно, до литой спелости вызревала не всякий год, да этого и не ждали – царица полей всей своей зелёной массой шла на силос. А раз так, то при уборке за початками не следили, и за комбайном их порядком оставалось лежать на жнивье. Раньше гуси по весне кормились в окрестностях всходами озимых зерновых, но теперь озимые не возделывали, и пролётные стаи на рассвете и по вечерам ощипывали оставшиеся на полях с осени початки, а отпиваться на ночь и дневать отправлялись на разлившуюся Сороть. Впрочем, в этом году из-за бесснежной зимы нормального половодья не случилось – так, чуть вспухла река и слегка накатила на заливные луга.

Теперь, в два часа пополудни, гуси были на воде – самое время разведать местность. Проехали к Палкино и, оставив машину на краю поля, прогулялись с полкилометра вдоль дренажной канавы, заросшей по краям лозой, осиной и ольхой и тянущейся до самой Ашевки, которую здешние жители считали подлинным истоком Сороти. Примерно тут, по мнению Пал Палыча, проходил путь гусиного перелёта – с воды на жировку и обратно, – если так, то лучше места не придумать: в кустах у канавы было легко схорониться.

– Когда стая летит, издали слышно – по шуму пера. Идут низко, аж воздух гудит. Голос ня дают, на кормёжку летят без гогота, – делился ловчим знанием Пал Палыч. – Услышите, сидите тихо, ня ворошитесь – если себя раскроете, отвернут. А как на вас выйдут, бейте первого, который вядёт. Тогда у них пяреполох начнётся, и гуси валом вверх пойдут. Тут из второго ствола бейте – можно ещё одного снять. – Пал Палыч задумался, не забыл ли чего. – Будете подранков   
достреливать, из кустов ня показывайтесь. Потом собярёте, когда весь гусь прокатит. А то другие стада, какие следом идут, вас увидят и облетят.

Приметив подходящие заросли для засады, вернулись к машине и проехали, внимательно осматривая округу, вдоль серых, ещё не перепаханных полей, разделённых узкими лесополосами. Здесь, расставив для приманки раскрашенные профили, гусей можно было бить на земле, когда те садились на кормёжку. Вблизи, правда, предупредил Пал Палыч, гуси подлог разглядят и могут растревожиться –   
тут и надо стрелять. Первые улетят, и ладно – за ними другой табун подтянется.

– На профили лучше утром приманивать, при первом пролёте, когда ещё ня рассвело, – сказал Пал Палыч. – Днём-то им обман заметнее. – После чего добавил: – У нас ямы под скрадок ня роют. Мы в полосах стоим, под дерева́м. Полей много, главное – угадать, где гусь сядет.   
А тут уже в удаче дело. Ня раз придётся место менять...

Собственно, времени на обследование здешних угодий оставалось в обрез: сегодня второе апреля, охота открывалась четвёртого, в субботу. Значит, завтра, с вечера пятницы, нужно быть на месте.

Подъехав по просёлку к очередному полю, остановились, вышли из машины и прошлись в сторону лесополосы. Кукурузная стерня шуршала и потрескивала под ногами, тут и там валялись на земле спелёнутые пожухлыми листьями грязно-серые початки.

– Сидел гусь, – вытянул Пал Палыч руку вправо и, повернув, пошёл к указанному месту.

Пётр Алексеевич направился следом и увидел на земле помёт и перья – птица на полях была, сомнений не осталось.

Часа два ходили по округе, высматривая участки, где больше всего наследили гуси – там, стало быть, они охотней садились на кормёжку. Нашли несколько удобных укрытий в лесополосе, хотя под голыми деревьями спрятаться было не просто, с выходами сразу на обе стороны –   
на два поля. И тут как на заказ в высоком сияющем небе пошли описывать круги гусиные стада – не перелётные клинья, а вылетевшие на жировку стаи. Большие птицы кружили, высматривая, куда сесть, недовольные и напуганные видом людей на расстеленной внизу скатерти-самобранке. Их были сотни, сотни, сотни – красота! Пётр Алексеевич, запрокинув голову, смотрел на небо, пока не заслезились   
глаза.

Обратно ехали по такой же пустой дороге, как и туда – люди сидели по домам, не столько опасаясь выставленных патрулей, сколько оцепенев в тревожном предчувствии чего-то небывалого и зловещего. Эта непривычная пустынность пространства поразила Петра Алексеевича ещё два дня назад, когда он выезжал из СПб. Объявленный накануне режим самоизоляции, напугав одних и став предметом отважных шуток для других, в нём самом словно бы отпустил сжатую оплёткой будней пружину. Одно к одному – типография остановила работу, сотрудники распущены по домам, а долгожданная весенняя охота, уже отменённая решением местных властей в Ленинградской, Московской, Ярославской, Тверской и других соседних областях, в Псковской по-прежнему оставалась в законе. Разве возможно усидеть в городе, какая бы чума болотная ни цеплялась за рукава?

Когда Пётр Алексеевич покидал Петербург, подспудно всё же опасался, доберётся ли до места. Но чёрт в лице мобильных полицейских групп, стоявших на дороге, оказался не так страшен и суров, как представлялся в коллективном бессознательном. У Петра Алексеевича с собой была бумага (тесть ещё в позапрошлом году отписал дом с участком Полине), свидетельствующая о наличии собственности в Псковской области, а стало быть, и пра́ва там находиться. Никаких справок о служебной необходимости поездки он не заготовил, но и того, что было, оказалось довольно – остановили на трёх постах офицеры в медицинских масках, посмотрели документы, отдали честь и пожелали счастливого пути.

Такой пустой трассы, как тридцать первого марта, Пётр Алексеевич не видел никогда. До Луги ещё иной раз встречались машины, но после в его полосе – никого до самого горизонта, лишь редкие встречные фуры из Белоруссии и Литвы. Вид этого огромного, безлюдного, по-весеннему прозрачного пространства вызывал в нём вовсе не беспокойство, напротив – какое-то одухотворяющее, торжественное, глубокое и гулкое возбуждение, будто перед ним, отпущенным суетой, открывался Бог, ставший разом и далью, и лесом, и облаком, в котором лишь изрядный идиот увидит только рыбу или барана. Пётр Алексеевич прислушивался к этому чувству и понимал, что оно приподнимает и словно бы окрыляет его, что оно ему соприродно и созвучно – будто в груди его надувается шар, на-  
дувается чем-то, что легче воздуха, каким-то возвышающим ликованием, и он, Пётр Алексеевич, отрывается от земли, как подхваченный ветром паучок на паутинке. Хотелось лететь, вольно гулять по свету, следуя за собственной тенью, и лишь в безлунную ночь или в ненастную погоду делать привал, чтобы ненароком не сбиться с пути...

Собственно, на трассе на него вообще никто не обращал внимания, хотя полицейские машины стояли и на границе областей перед Заплюсьем, и в Феофиловой Пустыни – у поворота на Шимск. Только после Лудоней, где, свернув на Порхов, Пётр Алексеевич сошёл с федеральной дороги, начались строгости. На перекрёстках ключевых путей, соединяющих районы Псковщины (Порховский и Дедовичский, Дедовичский и Бежаницкий, Бежаницкий и Новоржевский) патрули останавливали всех подряд и выясняли обстоятельства – провинция обнаруживала отменную бдительность, не в пример расслабленным столицам. Там Пётр Алексеевич трижды и предъявил документы офицерам, лица которых прикрывала нежно-голубоватая марля, и был милостиво пропущен, но в отношении местных выходило строже – несколько машин с псковскими номерами скопилось на обочине возле каждого передвижного поста. Оказалось, что Псков, как и его отдельные районы, закрыт для посещения – разрешён только сквозной проезд, – и теперь без каких-то специальных справок здешним жителям в соседний посёлок или город было не попасть ни по делам, ни к родне. Вроде и не карантин, а вроде и он – етитская сила.

Дело шло к вечеру, в приоткрытое окно водительской двери задувал прохладный ветерок, но небо по-прежнему хрустально светилось, хотя уже и не с такой убедительной силой, как несколько часов назад.

На перекрёстке, у поворота к Новоржеву, стоял бежаницкий патруль –   
машина Петра Алексеевича с петербургскими номерами, как транзитная, ни утром, ни теперь его внимание не привлекла. А может, постовые запомнили, что уже останавливали её два дня назад, и больше не стремились проявлять избыток рвения.

Вид полицейских пробудил в Пал Палыче воспоминания:

– Рассказывал или нет, как цаплялся ко мне офицер – зам по кадрам?

– Это когда вы в милиции служили? – Миновав пост, Пётр Алексеевич прибавил газу.

– Когда в милиции. Завёлся прямо: «Ну, бязграмотный человек! Другого такого в отделе нет бязграмотного! Написал рапорт: за ночь ня прошла ни одна машина!» На собрании это. Там коллектив – тридцать человек. Выхожу, молчу – ни слова ня говорю. Мне это ня обидно, а даже немного в радость. Ты хочешь сказать, что я двоечник? Так ня надо говорить – я и так знаю. Вышел напарник мой: «Палыч, что будем делать?» А я говорю: «Ня переживай, со следующей смены машины по городу будут ходить как часы». Пошёл к Пикулину, знакомому ещё по заводу «Объектив»: «Коля, я буду твою машину писать – с двух часов ночи до пяти утра – каждую смену. Если офицеры придут и спросят тебя, ты скажи, мол, по сёстры ездил».

– По сёстрам – это значит к родне? – уточнил Пётр Алексеевич.

– По сёстры – это к любовнице, – рассмеялся Пал Палыч. – Говорю Пикулину: «Скажи, по сёстры ездил. Тябе бояться нечего, ты с жаной каждую ночь дома, ты ж ня гулящий мужик». – «А, Паш, пиши что хошь!» – «Главное, имей в виду, что тебя спросят». – «Пиши, Паш». Всё. Стёпа ещё такой, хороший знакомый – к нему тоже: «Стёпа, – говорю, – я твою машину буду писать каждую смену с двух до пяти». – «А, Паш, пиши!» – «Но если, – говорю, – спросят, скажи, что по сёстры был». – «Паш, я что хошь скажу. Пиши, если тябе надо». Я говорю: «Мне машины ваши надо».

Пал Палыч возбуждённо поёрзал на сиденье, сдвинул на лоб вы-цветшую оливковую конфедератку и почесал затылок, после чего вернул её на место.

– В общем – всё, договорился. Я ж так живу: делай добро, если хочешь, чтоб тебя ня сдали. Таким друзьям всегда помогу, что бы они ня натворили... Пишу рапорт утром после смены: проходил автомобиль, госномер такой-то, в три часа ночи. А другой раз: в пять ночи, в два ночи – часы разные пишу. Специально, чтобы показать, что я с двух до пяти ня сплю, я работаю, понимаете? Проходит месяц-два. Опять собрание, и начальник милиции говорит: «Я прошу уголовному розыску разобраться, почему одни и те же машины ездят ночью, но нарушений никаких ня выявлено». Понимаете? Я в рапорте пишу: остановил машину госномер такой-то, а нарушений ня выявлено, нет нарушений. А тут: разобраться! Ну вот, думаю, ребятки, я вас и проверю, какие вы мои друзья – гожие или ня гожие. Ня гожие – сдадите, гожие – ня сдадите. – Пал Палыч потёр руки, радуясь своей давней уловке. – Так ня сдал ни один! И перястали говорить, что бязграмотный. Машины ходят? Ходят. Всё в порядке, раз вам надо, чтоб машины ночью ходили по Новоржеву.

– А что, обычно машин ночью нет в городе? – поинтересовался Пётр Алексеевич.

– Почему? Какие-то ходят. Но я в это время сплю.

После короткого приступа смеха договорились, что Пал Палыч, разнообразия ради, приедет вечером на лёгкий походный ужин к Петру Алексеевичу, остановившемуся на этот раз в пустом доме в Прусах. Хоромы Пал Палыча, как сказочный теремок, были полны – пересидеть вал объявленной пандемии не в огромном городе, где рыскал наряженный пугалом вирус, а под родительским кровом, решили и сын Пал Палыча, и дочь с двумя внуками. Петру Алексеевичу, без сомнения, тоже нашёлся бы в тереме уголок, однако он, несмотря на протесты гостеприимного хозяина, посчитал неудобным стеснять собравшееся вместе семейство.

Забросив Пал Палыча в Новоржев, таврённый классиком как самый никудышный городишко, Пётр Алексеевич проехался по лавкам. Жизнь в городе как будто замерла: открыты только продуктовые, прочие заведения – на замке, прохожих – перечесть по головам. На дверях магазинов объявления: просьба надевать маски и перчатки. И действительно, на улицах и в «Магните» почти все в масках – здесь люди напуганы, кажется, сильней, чем в СПб. В Новоржеве уже два случая госпитализации с подозрением на коронавирус, но оба инфицированных не местные, а приезжие из Опочки.

Пётр Алексеевич обследовал в «Магните» полки. Как водится, первой жертвой эпидемии пала гречка.

– Иной раз смотрю на себя, – Пётр Алексеевич учтиво придвинул к Пал Палычу на скорую руку нарезанный салат из помидоров с луком, –   
перебираю жизнь, словно бобы лущу, и с горьким презрением вижу, что часто совершал поступки и говорил слова не по велению совести и чести, а просто красуясь перед людьми. Иногда и перед воображаемыми… Представляете – перед воображаемыми! – Пётр Алексеевич наполнил рюмки. – И ладно, пусть себе – красуясь, но делал бы и говорил своё! А то ведь всё-всё, все труды и речи – всё взято со стороны, сдёрнуто по крохам у других, будь то живые люди или книги. А где же я? Где настоящий я? Ау! Ужасно сознавать, что никакого настоящего тебя и нет, ужасно…

– Да таких, как вы, Пётр Ляксеич, – насадил Пал Палыч на вилку кружок колбасы, – нравственных и честных, у нас днём с огнём ня сыскать.

– Тавтология, – машинально отметил Пётр Алексеевич и поднял рюмку. – От простодушия вроде бы исповедуюсь, а внутри прислушиваюсь: не красуюсь ли снова? Честностью, как вы сказали, не красуюсь ли, этим вот самым стриптизом сердца. – Пётр Алексеевич внимательно посмотрел на собеседника и вышел на высокий стиль: – Понимаю: вы не мой духовник, но я что-то не могу заткнуться и избавить вас от потока этих нелепых откровений. Простите дурака.

– Что за тавтология? – пропустив галантности Петра Алексеевича мимо ушей, переспросил Пал Палыч. – С чем едят? Про что это?

– Про то, что нравственный и честный – вроде как одно и то же.

Пал Палыч на миг задумался.

– Это вы, Пётр Ляксеич, зря. Бывает и ня так. Тамару помните? Которая на заправке? С рыжим волосом?

– Ну.

– Так она – гадючка первостатейная. – Пал Палыч вслед за Петром Алексеевичем осушил рюмку. – Ня какая-то шлюшка вавилонская, хотя ня без того, а берите выше – лярва. Нравственности никакой. Но лярва честная, у ней на лбу прямо написано: сгублю.

Пётр Алексеевич припомнил подтянутую, крашенную в медный цвет, остроносую, с припухлыми губами женщину за стойкой АЗС и осознал, что не настолько ещё вжился в здешний мир, чтобы читать письмена на лбах. Он видел в Тамаре просто подувядшую уездную красотку с потухшим, но прежде определённо озорным взглядом. «Хрен что поймёшь в человеке, – подумал Пётр Алексеевич, – пока не определишь его главенствующие побуждения».

– Что касается пристрастий, – ухватился он за мелькнувшую мысль, –   
то меня всякий раз удивляла внутренняя неготовность... Нет: внутренняя невозможность выстроить свои собственные увлечения по ранжиру. В постороннем человеке, человеке-соседе, разбираться проще – ну, вот как вы в Тамаре. Там, если главное разглядел, всё остальное можно разложить по отделениям – тут гвозди, тут саморезы, а тут биты для шуруповёрта. Сила привязанностей и побудительных мотивов в постороннем при определённом навыке легко поддаётся измерению – его, умеючи, можно расслоить, как луковицу. Так нам во всяком случае кажется. – Пётр Алексеевич положил на хлеб ломтик селёдки. – Другое дело – повернуть взгляд внутрь себя… Да, вполне возможно разобраться и в себе: это вот – столбовая стезя, а это – тропинка для одиноких грёз и мечтаний. Однако тот циркуль, что позволяет исчислять соседа, при взгляде внутрь перестаёт работать: тут словно бы находит слепота, и крепость привязанности становится неизъяснимой – всё дорого, всё важно. – Пётр Алексеевич увенчал тартинку колечком лука и отправил в рот. – Поначалу мне казалось, что причина в малодушии – в неготовности сделать решительный выбор. Но потом сообразил: вот, скажем, у меня две руки... Нет, не так. Вот у меня рука и на ней пять пальцев... Наверное, не только у меня. Какие-то из них более пригодны для повседневных дел, какие-то менее. Большой, указательный и средний, –   
Пётр Алексеевич поочерёдно предъявил их Пал Палычу, – определённо, важнее для любого рукоделия, нежели безымянный и мизинец. – Предъявил и эти. – Но вот доходит дело до членовредительства – палец или жизнь! Ведь может быть на свете ситуация, когда придётся выбирать... И тут, если попробовать оттяпать самому себе любой из них, из пальцев этих, то боль окажется неотличимой, что в случае указательного, что мизинца. Боли всё равно, смогу я легко обойтись без того или другого пальца, или это будет затруднительно. То же и с пристрастиями внутри нас, включая и влюблённости, – всё ценно, всё важно…

Почему Пётр Алексеевич упомянул влюблённости, он и сам не знал, однако Пал Палыч, казалось, только это и расслышал, тут же воодушевившись и расправив плечи.

– А вот послушайте-ка, что я вам скажу. – Пал Палыч подался над столом вперёд, подчёркивая порывом сокровенность и искренность грядущей речи – он придвинулся так близко, что Пётр Алексеевич почувствовал, как взгляд Пал Палыча коснулся его лица. – Когда я в техникуме, в Себяже, учился – после второго курса, пяред третьим – нас, как в ту пору заведёно было, отправили в колхоз – «на картошку». Хотя мы ня картошку, мы турнепс с гряд собирали... Ня только нас послали –   
там ещё были из областного института студенты, из педагогического. То есть студентки больше всё, конечно… А Нина ня поехала – болела, что ли, уже ня помню. У меня памяти – никакой. Так с детства са́мого. Потому и учился плохо. Иные в шестьдесят лет только забывать одно-другое начинают, а у меня с рождения всё из головы вылетало, как с решета. – Рассказать о себе и своей многосложной жизни, слегка привирая и юродствуя, Пал Палыч был большой любитель. – И честно скажу, приглянулась мне там одна – из педагогических. А у нас на то время с Ниной всё было сговорено – мы с ней уже друг дружке открылись, ну, про любовь-то, и дружили. Ня так, как нынешние, а честно – до свадьбы и ня думали, чтобы там постель какая или что…

«Разница между нами – пять лет», – подумал Пётр Алексеевич и невольно прикинул, сколько кошек в студенчестве царапало ему спину. Однако Пал Палыч продолжил рассказ и сбил его со счёта.

– Словом, приглянуться приглянулась, но дальше взглядов ня пошло. Ня то чтоб я был робкий, а только ня хотел. То есть хотел, что врать-то, но в голове позванивало так: динь-динь – ня надо. Вот как измена, что ли, это мне казалось, как предательство. А потом настал последний день – назавтра уезжать. Вечер уже, сижу на панцирной кровати – нас, всех парней, в школе поселили, мы в спортивном зале спали – и тут Мишка Кудрявцев, друг мой, с ребятами вбегает. Вбегает и говорит, мол, пойдём, Паш, с тобой деваха одна познакомиться хочет, с подружками нас у речки ждёт – мы идём с ими гулять, так от них условие: тебя привести. А я ня в настроении. «Ня пойду, – говорю. – Ня надо мне это». А ребята ни в какую – ня отступаются. Видно, пообещали, что приведут, чуть ня за руки меня тащат – или в забаву им, или боятся, что, если без меня придут, отказ им будет. Понимаете? Ломали-ломали – уломали. Подходим к речке, а там с подружками – она, педагогическая! Верой зовут. Красивая – волосы распущены, в платье, руки голые... Ня знаю, кому как, а мне – в самую душу. Оказывается, она тоже со своей стороны меня приметила. Ждала всё, когда я к ней подойду, – ня дождалась. Вот и придумала, чтобы через ребят меня позвать. У ней, поди, гордость девичья, а она переборола – понимать надо.

Пётр Алексеевич слушал, не перебивая. Пал Палыч был ему интересен какой-то простой на вид и вместе с тем неразрешимой загадочностью: всякий раз, знакомясь с очередной его историей, Петру Алексеевичу казалось, что тайна Пал Палыча вот-вот ему откроется – печати спадут, дверка распахнётся и впустит его в хранилище души, – но в итоге секрет из раза в раз оставался неразгаданным.

– Сначала вместе, одной компанией шли, а после уже вдвоём гуляли. Вечер, тямнеет, а мы ходим и говорим всё. О чём – тяперь и ня припомню. Что-то она про жизнь свою рассказывала. Хорошо говорила, грамотно – образованная, у меня так нипочём ня вышло бы. Студентка... русский и литература – другой полёт. Стихи наизусть знает. А потом обняла меня и давай цаловать! «Как увидала тебя, – говорит, – так и поняла – мой!» Ну, и заплакала... Слёзы у ней тёплые, а у меня голова кругом. Она плачет, а меня так прошибло, будто пальцы в розетку сунул – сердце замерло и щемит. «От счастья, – говорит, – плачу, родной мой. От чего ещё?» Потом снова поплачет и говорит: «Эх дроля-дролечка, зачем же ты ня подходил ко мне? Столько дней упустили – это же наше время, твоё да моё, для нас небесной силой было отведёно...» Я голову-то ей глажу, утешаю, да куда там... Так полночи на груди моей и проплакала – рубашка мокрая, хоть отжимай. А утром мне уезжать в Себяж на учёбу. И уехал. Но адресами обменялись.

Пал Палыч одним глотком допил квас из стакана и наполнил его заново. Едва ли не в каждом его жесте чувствовалась уверенность человека, ломающего жизнь, как соты, и поедающего добытый мёд из пригоршни, вместе с мягким воском, что совершенно не сочеталось с его заниженной самооценкой, которую Пал Палыч всякий раз лукаво предъявлял собеседнику. Впрочем, Пётр Алексеевич уже привык к этому химерическому совмещению.

– Она в Пскове жила, в общажитии. Я – в Себяж, она – в Псков. Разъехались. Нядели ня прошло, приходит от ней письмо. Так складно написано, слова такие – до самой пячёнки достают. А я-то парень ня учёный, дерявенщина, мне так ня написать. Понял, что ня ровня ей... – Пал Палыч вздохнул, но тут же снова оживился строгой, невесёлой живостью. – А Мишка Кудрявцев, с которым мы вместе у брата жили – он, брат мой, когда тут учился, снимал, и меня туда пустил снимать, а сам уже в колхозе работал, в Островском районе – Мишка Кудрявцев, значит, и говорит: «А что ж ты ответ ня пишешь?» Мы с им друзья был –   
секретов друг от дружки нет. Ну, я и говорю, что ня буду отвечать, ня та у меня образованность. Ня мастер, чтобы хорошо так, как у ней, слова сложить. Понимаете? А потом…

Из дальнейшего – немного путаного – рассказа Пётр Алексеевич уяснил, что после разговора с Мишкой завязалась довольно мутная история, нечто под Ростана: бойкий приятель Пал Палыча взялся от его имени вести с Верой переписку. Эпистолярный роман затянулся на полгода, пока однажды Пал Палыч, внутренне распадавшийся надвое между Ниной и на мгновение мелькнувшей в его жизни Верой, с прон-  
зительной ясностью не понял всю двусмысленность этого положения, не устыдился покаянным стыдом и не запретил Мишке Кудрявцеву писать за него в Псков. Вера прислала ещё несколько писем, оставшихся без ответа, а затем – армия, танковые войска, другая вселенная.

– Вроде и ня случилось ничего, – подвёл черту Пал Палыч, – а только забыть ня могу, как она у меня на груди проплакала полночи от счастья. Жизнь целая прошла, а из головы ня выходит.

Пётр Алексеевич не столько осознал, сколько почувствовал, что крепкая природная натура Пал Палыча имеет брешь – подумать только: испугаться, спасовать перед судьбой из-за того, что обуяли сомнения в безупречности подвластного тебе порядка слов! Так храброму портняжке платяная моль способна внушить едва ли не священный ужас.

– Что верно, то верно – жизнь прожита, – согласился Пётр Алексеевич. – Недавно заметил, что стал чаще чистить зубы – не из приверженности гигиене, а просто резко сократилась дистанция от утра к вечеру.

– Вот зубы потеряете, – поднял рюмку Пал Палыч, – всё и наладится.

Чокнулись и выпили.

– Не только в зубах дело. – Пётр Алексеевич хлебнул кваса. – Возраст опознаётся по восторгу безвозвратной гибели, который то и дело ощущаешь. Жизнь и память человеческая уходят, как вода в песок – ничего не остаётся даже после лучших. Почти ничего. Стало быть, нам с водой в песок по пути. И это странным образом воодушевляет.

– Я к чему говорю? – вернулся к своей истории Пал Палыч. – Всё правильно вы сказали: вот Нина у меня есть… Я что её – ня люблю? Люблю. Пусть она и нервная. Она – как палец указательный. А есть и Вера... Её и мизинцем-то ня назовёшь, так скоро всё мелькнуло – эпизод. Только поди ж ты – письма от ней до сих пор храню, ня могу ни сжечь, ни выбросить. Любовь – такая закорюка, которой мы ня разогнём. А с годами и вовсе попутаешься... Знаете, Пётр Ляксеич, откуда она, Вера, родом?

Пётр Алексеевич не знал.

– Из Ашева. – Пал Палыч крутанул с усмешкой головой. – Прошлым годом как толкнуло что – ня утерпел, съездил туда узнать, что да как. Тяперь она директор школы. Так я подходил к школе-то, тайком смотрел – душа замирала, робел, как ма́лец, как шпингалет какой...

– Жизнь назад отмотать захотели? – Пётр Алексеевич откинулся на спинку стула.

Пал Палыч тоже отстранился от стола и закинул лицо к потолку.

– Назад ничего ня вернёшь – беса лысого. А иной раз хочется. Я ж пяред ней виноват и знаю это. Оттого и свербит в пячёнках-то – хочется сызнова переиграть, чтоб стыд ня томил. Иной раз прямо мочи нет. Так, Пётр Ляксеич, под водой бывает, когда нырнул, чтобы блясну с коряги отцапить… А она ня отцапляется. Воздух кончается, зявки на лоб лезут, нявмоготу уже, и подпирает, чтоб вдохнуть – тут прямо, под водой. Организм требует – ня хватает дыхания, и нет ему, организму, никакого дела, что ты ня рыба, что без жабр...

За окном в позднем весеннем сумраке сверкнули автомобильные фары. Дочь приехала забрать отца домой – после трёх рюмок, а сегодня вышло даже больше, Пал Палыч за руль не садился.

Ночью Пётр Алексеевич спал беспокойно. Он словно бы оказался на знаменитом пиру у трагика Агафона – вокруг звучали речи, превозносящие и занимательно трактующие Эрота, которые то порхали клочками и урывками, то струились развёрнутыми стройными потоками. Подпадая под обаяние этих бряцающих в его спящем разуме речей, Пётр Алексеевич восторгался картиной наконец-то воссоединившихся навеки двух половин рассечённого Аристофанова андрогина и поражался циничной справедливости Бодлера, тоже каким-то образом здесь очутившегося и утверждавшего, что женщиной, которую любят, не наслаждаются – её обожествляют, а разврат с другими женщинами делает возлюбленную только дороже. «Теряя в чувственных наслаждениях, –   
вещал садовник, пестующий цветы зла, – она выигрывает в обожании. Кроме того, если мужчина сознаёт, что нуждается в прощении, он становится ещё услужливее и покорнее». А какой-то аскетичного вида мыслитель с очень знакомым (во сне) голосом заявлял, что никогда не предполагал о наличии столь изощрённейшей греховности в любовных ласках порядочных девиц, которые увлечены философией. И вообще, любовь естественным образом кровожадна, поэтому всё, в чём нет ни малейшего изъяна, выглядит бесчувственным. Так что неправильность –   
нежданное, чудно́е, необычное – желанна нам и лишь усиливает, а не губит красоту. Пётр Алексеевич внимал. Выходило едва ли не так, что даже у откровенной дряни в дальнем родстве непременно отыщется зёрнышко возвышенного и божественного. «Одна женщина, –   
сообщал некто с одутловатым лицом и усами щёточкой, – решила оставить мужа, узнав, что последние годы, дабы вызвать у неё жалость, он притворялся глухим». – «И что?» – поинтересовался Пётр Алексеевич. «Как только она подала на развод, муж стал стремительно терять зрение». Один за другим персонажи его сна с огоньком *гнали гусей*. О эти вдохновенные враки и свирепые шутки, эта насмешливая бесцеремонность и потешность парадоксальных суждений –   
весь этот художественный свист, которым упивались времена его   
юности!

Проснулся Пётр Алексеевич до рассвета, всё ещё захваченный страстной полемикой, переполнявшей его гремящий сон. А что если человек ошибся и принял за безупречно дополняющую его половину, воссоединение с которой обещает гармонию, покой и счастье, вовсе не ту или не того? Тогда выходит, что вся его последующая жизнь – сплошь фальшь, скрежет, маета и ложь. Нет, с ним и с Полиной, пусть она тоже немного нервная, определённо всё в порядке. У неё короткое дыхание – на продолжительный скандал Полины просто не хватает. Хороший скандал требует серьёзных эмоциональных вложений, а таких в её дорожном багаже, как правило, нет под рукой. Словом, тут порядок. Уж он-то способен отличить сияние от морока... Пётр Алексеевич в недолгом колебании задумался: да, способен, нет сомнений, и даже без очков. А что Пал Палыч? Не злая ли тоска, навеянная подозрением, что сделал неверный выбор, что совершил ошибку, погнала его в Ашево и заставила тайком, как робкого мальчонку, стоять у школы? А между тем Пал Палычу, хоть он по-прежнему смотрит на жизнь с аппетитом, уже все шестьдесят, у него жена, дети, внуки...   
И если подозрение возникло, как разобраться, где была истина, а где соблазн и ложь, если былого уже не перерешить и не переиграть войну? Ну пусть не ложь, пусть заблуждение… Да, первая неправда приходит в мир от нежелания обидеть другого. Но дальше что? Дети Пал Палыча – ложь? Внуки – ложь? Дудки! Кто скажет так, пусть тот подавится счастьем своим…

Почувствовав, что воспалённая мысль упёрлась в стену, Пётр Алексеевич прильнул к поверхности, толкнулся – нет, стена стояла крепко. Не то, не так... Разве мог Пал Палыч, сроднившийся с самим ядром природы и запросто читающий по лицам чужие умысел и нрав, ошибиться? Разве мог?

Пётр Алексеевич лежал на спине и смотрел в потолок, ещё не выбеленный бледным небесным отсветом. Там, на тёмном, как вода во облацех воздушных, потолке, ответа не было. И быть, конечно, не могло.

Уже давно рассвело. Пётр Алексеевич успел привести себя в порядок, сварить кофе, позавтракать, обойти хозяйство, полюбоваться расцветшей вербой, молодыми берёзками с розоватыми на утреннем солнце кронами на том берегу реки и белой цаплей, гуляющей по отмели (вода почти не поднялась), когда часов в одиннадцать позвонил Пал Палыч. Оказалось, жизнь посрамила их планы. Вчера, пока они гуляли по кукурузным полям, проводя полезную для дела рекогносцировку, вышел приказ псковского губернатора об ужесточении мер самоизоляции и строгом запрете на бесконтрольное перемещение людей из волости в волость. Сегодня утром Пал Палыч поехал смотреть сетки, поставленные им накануне на Селецком озере, так его развернули на дороге полицейские – никакие уговоры и увёртки, на которые горазд был Пал Палыч, не помогли, приказ. Сети не проверить и не снять – теперь рыба в них задохнётся и сгниёт. Одно утешение – на обратном пути Пал Палыч в ручье увидел чирков, остановился, расчехлил ружьё и взял с подхода двух. Короче, на гуся им сегодня вечером не ехать – Ашево не то что другая волость, другой район, Петра Алексеевича с пропиской в СПб пропустят, как возвращающегося по месту жительства, а Пал Палыча непременно завернут. А он с вечера уже и профили сложил в мешок... Хорошо, они вчера в ашевском охотхозяйстве не стали брать путёвки, решили, что возьмут сегодня, а то пустили бы на ветер деньги.

Недолго посетовав на обстоятельства, сговорились вечером отправиться на вальдшнепа (пара браконьерских выстрелов, заверил Пал Палыч, – ничтожное возмещение за рухнувшие планы) – окрестные поля за три десятка бесхозных лет заросли, и теперь на опушках образовавшихся перелесков вальдшнеп тянул едва ли не повсеместно.

День простоял ясный и на полозьях мелких дел проскользнул незаметно – топилась печь, сметалась с дорожки у крыльца прошлогодняя   
листва, обнаруженный возле бани полуразложившийся труп лисы, затравленной, должно быть, ещё зимой приблудными собаками, отправился на лопате с прочим мусором в кострище, где предан был огню. Потом Пётр Алексеевич съездил в Новоржев и в домике-завалюхе местного охотхозяйства взял на завтра путёвку на водоплавающую дичь и боровую, а вернувшись, отправился осматривать соседние озерки – круглое и лесное, – на одном спугнул стайку нарядных кряковых селезней, на другом – чирков и чернеть.

Когда он приехал вечером в Новоржев за Пал Палычем, тот первым делом сообщил:

– По телевизору пугают: сидите дома, на улице люди… Смешно. Как страх какой-то друг пяред дружкой нам внушают, будто пяред волкам. А сами поют хором, что, как мор закончится, иначе заживём: тяперь мир изменится и никогда ня станет прежним... Все страны, все правительства поймут: есть всемирная зараза, есть опасность, общая на всех. Поймут и перястанут одни другим свинью подкладывать. Вы как об этом, Пётр Ляксеич, думаете?

– А так и думаю, – ответил без заминки Пётр Алексеевич, – что ничего не переменится, какая дрянь ни накати – хоть эта свистопляска, хоть другая. Чего только на свете не случалось, а мир всё тот же. Корыстолюбцы по-прежнему пекутся о мошне, лицемеры врастают в свои маски, а праведники, никого не зажигая собственным примером, по-тихому спасают мироздание.

Пал Палыч удовлетворённо крякнул:

– Молодец, люблю! Вот люблю, когда дело говорят!

Поехали к Телякову – там, прямо у дороги, на подъезде, в былые годы вальдшнеп водился в большом количестве. Небо между тем затянула мглистая пелена и, качая голые ветки деревьев, набежал ветер.

– И что, Пал Палыч, – дал выход Пётр Алексеевич терзавшему его со вчерашнего дня любопытству, – как шпингалет у школы постояли в Ашеве – а дальше? Видели её? Ту Веру, что теперь директор.

– А видел. – Пал Палыч будто ждал вопроса. – Стоял, робел, но совладал и сам пошёл – прямо к ней в кабинет. Уж больно захотелось посмотреть – как, прямо, за поводок тянули... Пятый час был, уроков нет, но она – на месте. Ня молодая уже, чистенькая, опрятная... Сперва как будто ня узнала. «Вы, – говорит, – по какому вопросу?» А я ей, мол, Паша я, студентами в колхозе были на турнепсе – помнишь? Она тут как вздрогнула. Насупилась, – Пал Палыч свёл брови, сжал губы и опустил голову, – и над столом с бумагами склонилась. Я говорю, мол, так и так – проезжал мимо, узнал, что она тяперь в школе директор, и дай, думаю, взгляну. Храбрюсь, а самого то в жар бросит, то озноб тряхнёт, и коленки дрожат, как у цуцика. Дурак дураком – сорок с лишним лет прошло, а я такую дурость молочу… А она лицо подняла и говорит: «Ты почему на письма перястал отвечать?» Вы поняли? Всё помнит… «Так получилось», – говорю. А что тут скажешь? Ня будешь объяснять, что и отвечал другой, ня я. Хотя я каждое письмо, что Мишка сочинял, читал пяред отправкой, чтоб без глупостей... «Иди, – говорит, – сейчас комиссия в школе районная, ня могу я...» А сама вся вспыхнула – ня то от растерянности, потому как ня ждала, ня то ещё от чего. А я и сам ня в своей тарелке – от того и храбрюсь напоказ, что ня знаю, как себя вести. Озлилась она на меня. Как сорок лет назад озлилась, так и ня простила, так и злится. «Вот, – говорит, – возьми». Карточку со своим телефоном дала, и я ушёл.

– Визитку? – уточнил Пётр Алексеевич. – Звонили?

– Нет, ня звонил. Зачем? Увидеть – увидел. А чего ещё? – Пал Палыч впал в задумчивость. – Поздно уже прощения просить.

Какое-то время он тягостно молчал, ворочая в голове, точно корабельный канат, длинную и неподатливую мысль, которую не решался предъявить. Наконец признался:

– У ней будто сломалось что – как тень той, прежней, стала. Тут ня в возрасте дело. Огонька, живости – никаких.

– Чего ж вы хотите? – Пётр Алексеевич неопределённо качнул головой. – Столько лет прошло.

– Говорю же, ня в этом дело.

– А в чём?

– Как сказать… – Пал Палыч снова пошарил в запасниках, нащупывая подходящие слова. – Я долго думал – полгода, считай, или больше – пока ня сообразил…

– Ну? – подбодрил Пётр Алексеевич.

– Я так понимаю, что по дурости сжёг её лягушачью кожу.

Пётр Алексеевич недоумённо вскинул брови.

– Как в сказке – помните? Долго думал, и вот – дошло. Такая, получается, моя вина...

– Что за кожа?

– Это я образно, – пояснил Пал Палыч, – для понятия. Я её кожу лягушачью сжёг, а она ня отправилась в тридесятое царство, а тут осталась. Только погасла, обыкновенной сделалась, как все. Осталась здесь, а от тридесятого своего отказалась…

– Да что вы там сожгли-то? – торопил с пояснениями Пётр Алексеевич.

– Вот это самое и сжёг... В три приёма. Сначала сам писать заробел. Потом Мишке позволил. А потом и эту нитку оборвал. А она в том мире-то, который в памяти и в письмах, уже жила, дышала... Словно в двух царствах была сразу – в том, что вокруг, и в этом вот, тридесятом.

Пётр Алексеевич ощутил, что в речи Пал Палыча определённо брезжит какая-то не до конца оформленная мысль, упрямо испуская из-под спуда слов неясный, но уже заметный блеск.

– И что? Что именно с ней стало?

– Как что? – Пал Палыч, кажется, был удивлён непонятливости Петра Алексеевича. – Она лишилась этого... Как без дома сделалась, без потаённого угла, который был ей по́ сердцу и в душу. Понимаете? Обыкновенной перекинулась, как все другие – больше ня царевна... Без света, без тайны, без чудинки... Без царства целого. Без закута, куда, если что, могла сбежать, и там никто её достать уже ня смог бы. А это нам дороже дорогого – жить сразу на два царства. От этого в нас сила, и огонь, и тайна… Она, тайна эта, когда в другом её увидел, и манит.   
А тут ей – раз! – и дверку в тридесятое закрыли. Она вот и погасла. Как остальные стала. Как велено по жизни. Как положено.

– Откуда вы это знаете?

– А догадался. – Пал Палыч бросил быстрый взгляд на сидящего за рулём Петра Алексеевича и для весомости добавил: – Всегда как будто знал. Я сам такой. – И ещё добавил: – Этой виной себя виню: сжёг у ней лягушачью кожу.

– Вы тоже, что ли, на два царства живёте?

– А как же! На меня только собак спусти, или ещё как защеми, а я уже в своём тридесятом! Поди-ка ковырни меня оттуда.

– И где же дверка в это ваше царство?

– Сказать? – как будто у кого-то третьего, незримо присутствующего в машине, поинтересовался Пал Палыч. Спросил и, видно, получил ответ. – Ружейный ящик в комнате моей видали? Вот тут и есть.

«След путает», – сообразил Пётр Алексеевич. Действительно, с какой стати Пал Палычу открываться? Чтобы потом кто-то сжёг его собственную лягушечью кожу, как однажды невзначай он сделал это с Вериной? А ведь его и вправду не нагнать... Пётр Алексеевич впал в безысходную задумчивость.

Молча доехали до перелеска перед Теляковом, откуда уже были видны пустые в эту пору (одни заброшены, другие ждали лета и дачников) окраинные деревенские дворы. Только вышли из машины, как по кустам хлестнул холодный ветер, и из набежавшей тучи ударил снежный заряд, обжигающий и злой, какими небесная пушка за всю зиму не палила.

– Ёпс, – подбил итог Пал Палыч.

Вальдшнеп по такой погоде, разумеется, не тянул.